ПРИВИВКА

ТРЕНТ АРНОЛЬД



Трент Арнольд

Прививка

«Автор»
2026

Арнольд Т.

Прививка / Т. Арнольд — «Автор», 2026

Он уехал из родного городка двадцать лет назад и не оглянулся. Построил жизнь в большом городе, завёл семью. Но прошлое предпочитал не вспоминать. Пока не пришло письмо от старой женщины: «Приезжай. Пока я жива».Он возвращается на пепелище: дом снесли, яблони срубили, мать умерла. Остались только сестра, которая не может простить, и отчим — молчаливый человек, умеющий объяснять всё руками. На старой дикой яблоне они вместе делают прививку: соединяют живую ветку с чужим корнем. «Самое трудное — не лезть каждый день проверять, прижилось или нет», — говорит отчим.Это книга о двух семьях, которые должны стать одним целым. О том, что дом — не стены, а люди, которые тебя ждут. И о том, что всё хорошее растёт медленно — как яблоня, привитая весной, чтобы осенью дать первый, самый кислый, но самый правильный урожай.

© Арнольд Т., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Запах 5
1. Телефон на крыльце 8
2. Пустырь 10
3. Воскресный ужин 13
4. Дорога 15
5. Два дома 18
Конец ознакомительного фрагмента. 19

Прививка

Пролог. Запах

Яблони пахли так, что кружилась голова.

Не духами. Не цветами. Тяжёлым, густым, пьяным запахом. Он стоял в воздухе всё лето. И осенью. И даже зимой — в подвале, где в деревянных ящиках лежал урожай.

Я помню руки матери. Они были в муке. По локоть. Она месила тесто прямо на столе. Не на доске. На голом дереве. Скалка — старая, тёмная от времени. Она раскатывала круг. Ровный. Идеальный.

Мука оседала на её ресницах. На бровях. Она сдувала её. Смешно. Как лошадь. Я смеялся.

— Не стой под рукой, — говорила она. Голос был тёплый. — Упадёшь.

Я не падал. Я стоял. Смотрел.

Запах. Пирогов. С капустой. С яблоками. С корицей. Он выполз из-под дверцы печи. Сначала тонкий. Потом — густой. Он заполнил весь дом. Он был везде. Он был самим домом.

Отец сидел на крыльце.

Молчал.

Смотрел куда-то поверх забора. Вдаль.

Он всегда молчал. Но его молчание не давило. Оно просто было. Как воздух. Как эти яблони. Как тепло от печи.

Сестра. Маленькая. Тёплая. Она спала у меня на руках. Я качался. Вправо. Влево. Пел ей что-то. Без слов. Просто мычал. Она улыбалась во сне.

Это было.

Всё это было.

Я помню трещину на потолке. Прямо над моей кроватью. Тонкую. Как шрам. Я смотрел на неё перед сном. Ждал, когда она поползёт дальше. Она не ползла. Она просто была.

Я думал тогда, что так будет всегда.

Что мать всегда будет в муке.

Что отец всегда будет на крыльце.

Что запах яблок никогда не выветрится.

Я ошибся.

Яблони срубили.

Дом снесли.

Мать умерла.

Остался только запах.

Который я искал двадцать лет.

Который привёл меня обратно. На пустырь. Где вместо дома — бетон.

Но в тот день, в том доме, я этого ещё не знал.

Я просто стоял.

Смотрел, как мать достаёт противень.

Как пар обжигает ей пальцы.

Как она дует на них. И смеётся.

И это было счастье.

Настоящее.

До того, как всё пошло трещинами.

Отчим сказал мне однажды, что яблоню нельзя вырастить из семечка, во всяком случае такую, какую хочешь. Из семечка вырастет что-то своё, дикое, кислое, и ты никогда не узнаешь заранее, что именно. Чтобы получить антоновку, говорил он, надо взять живую ветку от антоновки и соединить её с чужим корнем, и тогда корень будет кормить, а ветка помнить, какой она должна быть.

Я тогда слушал вполуха. Мы стояли в саду у бабы Нюры, было начало апреля, земля ещё не отошла до конца, и отчим держал в руках маленький нож с обмотанной изолентой ручкой, которым он за двадцать минут сделал на тонком стволе косой срез, вставил в него прутик и туго перевязал место соединения полоской мягкой ткани. Я смотрел на его пальцы, на то, как точно, без единого лишнего движения они двигаются, и думал, что вот человек, который за всю мою жизнь не сказал мне и сот слов подряд, а между тем умеет объяснить всё что угодно, если только объяснять руками.

— Срастётся? — спросил я.

— Если не трогать, — сказал он. — Самое трудное в прививке не срез и не перевязка. Самое трудное потом не лезть каждый день проверять, прижилось или нет.

Эта книга о том, как я учился не лезть и как учился оставаться. Она продолжает ту, что вы, возможно, уже читали, хотя читать её раньше необязательно: всё, что нужно знать, я расскажу по ходу. Это не роман, и я ничего в ней не выдумывал, кроме тех мест, где память отказывала и я честно говорил об этом прямо в тексте. Люди здесь живые, и если кому-то покажется, что я был к нему слишком строг или слишком мягок, пусть знает, что строже всего я всегда бывал к себе.

Речь пойдёт о двух домах. Один стоит в Заречье, на окраине маленького города, где я родился и откуда двадцать лет назад уехал, не оглянувшись. В нём живут сестра, её муж и дети, там под окном растёт яблоня, посаженная моими руками, а ещё там осталось много людей, которых я долго считал потерянными. Другой дом находится в большом городе, и там ждёт моя семья, та, что у меня уже была к тому времени, как я вернулся домой, и о которой я, к своему стыду, долго не мог заставить себя заговорить вслух.

Я всегда был человеком, который любит дом на расстоянии. Мне понадобилось почти сорок лет, чтобы понять, что это не любовь, а способ не жить в нём. И когда отчим в то апрельское утро затягивал ткань вокруг тонкого стволика, я не знал ещё, что точно так же придётся соединять два моих мира, которые не желали срастаться, и что первым делом нужно будет перестать проверять каждый день, прижилось ли.

1. Телефон на крыльце

Крыльцо у бабы Нюры было узкое, в три ступеньки, с перилами, до блеска отполированными ладонями. Я сидел на верхней, с телефоном в руке, и смотрел на яблоню. Она стояла, тонкая и косая, в вечернем свете, и на нижней ветке у неё висели три маленьких зелёных плода, ради которых я, взрослый мужчина, каждое утро выходил во двор, как на свидание.

Её звали Вера. Мы были вместе уже много лет, и за эти годы я научился различать по её голосу в трубке, в каком она настроении, ещё до того, как она произнесёт первое слово. В тот вечер голос был ровный, осторожный, с той вежливой усталостью, которая бывает у людей, давно перешедших от ссор к другому, куда более опасному состоянию: к привычке.

— Привет, — сказала она.

— Привет. Как вы?

— Нормально. Миша сегодня получил четвёрку по математике, очень гордый ходит. Я сказала, что ты позвонишь, он обещал не засыпать, но уже лежит.

— Позови его.

— Он только что лёг, Руслан.

Это было правдой, и мы оба знали, что это правда, но знали и другое: что час назад я мог позвонить, и не позвонил, потому что колол с отчимом дрова, а потом сидел с бабой Нюрой за чаем, и время утекло, как вода в песок. Вера никогда не упрекала меня вслух. Она просто сообщала факты, и от этого каждый факт становился тяжелее.

— Прости, — сказал я.

— Не за что. Как там у вас? Как Оля?

— Нормально. Ходит, ворчит, приносит борщ в кастрюлях. Дети растут.

— Ты ей сказал?

Я посмотрел на яблоню.

— Нет, — сказал я. — Пока нет.

— Руслан, ты там уже полгода.

— Семь месяцев.

— Тем более.

Она не стала продолжать, и это было хуже любых слов. Мы помолчали, слушая друг друга сквозь сотни километров дороги, и я успел подумать, что это умение молчать вдвоём, наверное, и было тем лучшим, что у нас с ней получалось, пока однажды не стало тем, что нас разъединяло.

— Я не прячу вас, — сказал я наконец. — Ты это знаешь.

— Я знаю, что ты не рассказываешь. А как это называется, придумай сам. Ты же писатель.

Она не была злой. Она просто устала, и я слышал эту усталость, как слышат капающий кран в соседней комнате: не сразу, но потом уже ни о чём другом думать нельзя. Мы договорили ещё о каких-то мелочах, о счёте за свет, о том, что Мише нужны новые ботинки, о том, что в её институте опять переносят отпуска, и я повесил трубку с таким чувством, словно отказался от важной сделки ради удобства.

Я сидел на крыльце, пока совсем не стемнело. Из дома вышла баба Нюра, поставила рядом со мной кружку с травяным чаем и молча ушла обратно. Она никогда ничего не спрашивала, но, как я потом понял, знала про Веру и Мишу с самого начала. Сестра в своё время обмолвилась ей, что я где-то женат, и старуха предпочла не лезть. Выжидала. Как отчим выжидает, когда прививка срастётся.

Я пытался вспомнить, почему не сказал сразу. В первый день это было понятно: я приехал на пустырь, где когда-то стоял мой дом, и чувствовал себя человеком, которому позволено горевать только в одиночестве. Потом, когда я остался у бабы Нюры, а Оля со своей злостью и своим борщом начала впускать меня обратно в жизнь, оказалось, что сказать «у меня тоже есть семья» значило бы признаться, что всё это время, пока она ждала меня, я строил свою жизнь где-то там, без неё, и что мой приезд не сам по себе подвиг, а скорее остановка на пути.

Но было и другое, о чём я не хотел думать. Заречье возвращало меня в детство, в тот дом, где пахло пирогами и где мать сдувала муку с ресниц. И в этом доме я не хотел быть женатым мужчиной из большого города. Я хотел быть мальчиком, которого ждут. И Вера с Мишей этому мальчику мешали.

Я знал это про себя, но знание ничего не меняло.

2. Пустырь

Утром я пошёл на Садовую.

Улица называлась Садовая. Я помнил её по-другому. Совсем по-другому.

Раньше здесь росли яблони. Я помнил их — корявые, старые, с низкими ветками, которые гнулись к земле под тяжестью плодов. Помнил, как лазил по ним. Как падал. Как разбивал коленки. Как мать ругалась. Как отчим молчал. Как сестра смеялась.

Теперь яблонь не было. Не было дома. Не было двора. Не было ничего.

Бетонный забор. Длинный. Серый. Уродливый. С колючей проволокой сверху. С табличкой: «Строительный объект. Вход запрещён». За забором — пустырь. Ровный. Голый. Безжизненный. Кран. Мёртвый. Застывший. Стрела смотрела в небо. Как рука, которая просит помощи. Или как палец, который указывает в никуда.

Я стоял и смотрел.

Ветер гнал пыль. Пыль попадала в глаза. В рот. В лёгкие. Где-то лаяла собака. Мимо прошла женщина с коляской. Она не смотрела на меня. Она смотрела вперёд. Обычный день.

Но для меня это было кладбище.

Я пытался вспомнить дом. Свой дом. Тот, в котором родился. Тот, в котором сделал первые шаги. Тот, в котором впервые сказал слово. Тот, в котором впервые заплакал. Тот, в котором впервые засмеялся.

Не получалось. Только обрывки. Только фрагменты. Как старая фотография, которую порвали на кусочки и перемешали.

Жёлтая стена. С выцветшей краской. С трещинами у потолка. Я помнил эти трещины. Я смотрел на них, когда лежал в кровати.

Скрипучая дверь. Я помнил её звук. Длинный. Тягучий. Как стон. Она скрипела всегда. И зимой, и летом. И ночью, и днём. Я научился определять по этому скрипу, кто пришёл. Если скрип короткий — мать. Если длинный — отчим. Если два коротких — сестра.

Запах пирогов. С капустой. С яблоками. С картошкой. Мать пекла их по субботам. Я помнил этот запах. Он заполнял весь дом. Он был везде. Он был домом.

Мама у печи. В фартуке. С мукой на руках. С улыбкой. Она улыбалась, когда пекла. Всегда. Даже когда уставала. Даже когда болела. Даже когда не было денег.

Отчим на крыльце. С сигаретой. С газетой. С молчанием. Он всегда молчал. Но его молчание было тёплым. Оно не давило. Оно просто было.

Сестра на руках. Маленькая. Тёплая. Живая. Я носил её по комнате. Я пел ей песни. Я рассказывал сказки. Я был ей отцом. Я был ей всем.

Всё это было. И всё это ушло.

Осталось только во мне. В памяти. В шрамах. В тишине. И когда я умру — это исчезнет совсем. Как дом. Как яблони. Как всё.

Я стоял долго. Наверное, час. Может, два. Время потеряло счёт.

Потом услышал:

— Руслан?

Обернулся.

Женщина. Пожилая. В форме. Охранник. Смотрела на меня. Прищурилась.

Я узнал. Не сразу. Потом — узнал.

Тётя Зина.

— Тётя Зина?

— Я. А ты — Руслан. Танькин сын.

— Я.

Она подошла. Ближе. Разглядывала. Как тогда. В магазине. С прилавка.

— Надо же. Вернулся.

— На время.

— А я думала — ты в Москве. Большой человек. Книги пишешь.

— Пишу. Но не в Москве.

— А где?

— Везде. И нигде.

Она кивнула. Поняла. Или сделала вид. Не важно.

— Мать твоя... хорошая была. Царствие небесное.

— Спасибо.

— А отчим как?

— Живой. Здоровый. Гараж чиним.

— Молодец. Мужик.

Она посмотрела на пустырь. На забор. На кран.

— Снесли всё. Дома. Сады. Магазин мой. Всё.

— Знаю.

— А ты — не злишься?

— Нет.

— Почему?

Я подумал. Честно.

— Потому что злиться — бессмысленно. Дома нет. Сада нет. Магазина нет. Но я — есть. И вы — есть.

Она улыбнулась. Тепло. Как тогда. Когда давала конфету.

— Молодец. Иди. Тебя, наверное, ждут.

Я пошёл. Не оглядываясь. Не потому что не хотел. А потому что не мог. Если бы я обернулся — я бы остался. Навсегда.

Я не хотел быть застывшим. Я хотел быть живым.

3. Воскресный ужин

Сказать всё же пришлось, и вышло это совсем не так, как я себе представлял за предыдущие недели.

Я репетировал. Надо признаться, что репетировал, как репетируют выступление, придумывая фразы поровнее и помягче, прикидывая, в каком порядке выложить факты, с чего начать, чтобы не обидеть и не напугать. Фразы получались красивые, и оттого, наверное, я не мог произнести ни одной.

В тот воскресный вечер мы сидели у Оли на кухне, все вместе: Оля, Сергей, дети, баба Нюра, которую привели под руки, и я. Оля поставила на стол жареную картошку с грибами, нарезала хлеб толстыми ломтями, налила детям компот, и в кухне стоял тот ровный, домашний гул, который бывает только в больших семьях, когда каждый говорит о своём и никто никого не перебивает. Артём рассказывал, как они с мальчишками строили шалаш за гаражом. Младшая, смеясь, показывала, что у неё выпал зуб. Сергей молча подкладывал мне картошку.

Я посмотрел на них и вдруг понял, что если не скажу сейчас, то уже не скажу никогда, потому что лучшего момента не будет. Что молчание, которое тянется слишком долго, перестаёт быть тайной и становится ложью, а ложь, прожитая вместе с людьми, которые тебя приняли, стоит дороже любой другой.

— Мне нужно вам кое-что сказать, — произнёс я.

Все стихли. Даже младшая перестала смеяться, хотя, по-моему, просто почувствовала общее настроение.

— У меня есть семья, — сказал я, глядя в тарелку, потому что не мог смотреть на Олю. — В городе. Жена и сын. Уже давно, много лет. Я не говорил, потому что не знал как, и потому что мне казалось, что здесь всё слишком хрупко, чтобы нагружать это ещё и этим. Теперь мне кажется, что я ошибался.

Мне запомнилось, что в этот момент в кухне было так тихо, что слышно было, как капает вода из крана.

Оля встала из-за стола, взяла чайник и ушла к плите, очень осторожно, будто боялась что-то разбить. Я видел её спину, прямую, застывшую, и видел, как дрожат пальцы, которыми она держит ручку. Она ничего не сказала. И в этом молчании не было ни крика, ни упрёка, а было что-то куда худшее: узнавание. Она узнала меня. Того, каким я был двадцать лет назад, когда уходил с чемоданом, обещав вернуться скоро.

Я встал, поблагодарил за ужин и вышел, потому что понимал: любое слово, которое я скажу сейчас, будет защитой, а защищаться мне было нечем.

Ночью я не спал. Лежал на старой кровати бабы Нюры, смотрел на трещину в потолке. Раз. Два. Три. На четвёртом сбился.

Она появилась вечером следующего дня, когда я уже почти перестал ждать. Вошла без стука, села на табурет у печки, посмотрела на меня серыми глазами, в которых не было гнева, только усталость, и сказала:

— Ты знаешь, что самое обидное?

— Что я не сказал раньше.

— Нет. Что мне всё равно, жена она тебе или кто. Я за неё рада, если честно. Раз она с тобой столько прожила, значит, ты не совсем пропащий. Обидно другое. Ты семь месяцев сидел за моим столом и ел мой хлеб, и каждый вечер звонил им с крыльца, как вор. А я смотрела и думала, что ты счастливый. Что у тебя наконец нет никого, кроме нас.

— Оля.

— Подожди. Дай договорить. — Она потёрла лоб ладонью. — Ты думаешь, я тебя ругаю? Я тебе сейчас скажу одно, и ты запомни. Хватит возвращаться в одну сторону. Ты приехал сюда, потому что тебе здесь хорошо, и это правильно, но у тебя там люди, которым тоже хорошо с тобой, или будет хорошо, если ты перестанешь стоять в дверях. Езжай к ним. Поговори. Посмотри им в глаза. И не думай, что вернёшься сюда, как будто ничего не было. Либо вернёшься с ними, либо не возвращайся.

Я хотел возразить, что всё сложнее, что у нас с Верой есть вещи, о которых нельзя рассказывать за кухонным столом, но Оля встала, глядя на меня сверху вниз, и этого взгляда оказалось достаточно.

— Я ждала тебя двадцать лет, — сказала она тихо. — Я знаю, что такое сидеть и ждать человека, который говорит «скоро». Не делай этого с ними.

Она вышла, и я слышал, как за ней скрипнула калитка. Я так и остался сидеть на табурете, чувствуя себя тем самым мальчиком, которого когда-то поймали за кражей яблок: стыд, облегчение и странное желание немедленно что-то исправить.

На следующее утро я купил билет на автобус до города.

4. Дорога

Автобус шёл четыре часа, и я просидел всю дорогу, прижавшись лбом к стеклу, как в детстве, когда мы ездили к дальним родственникам и я пытался считать телеграфные столбы. За окном тянулись поля, редкие деревни, заправки, и я ловил себя на том, что по привычке подбираю слова, строю фразы, описываю в голове то, что вижу, а потом отгоняю их, потому что не хотел сейчас быть писателем. Я хотел быть человеком, который едет домой.

Это оказалось сложнее, чем я думал. Выходит, я так долго жил в режиме наблюдателя, что разучился просто чувствовать то, что чувствую.

Город встретил меня шумом. За полгода я отвык от него, и после тихого Заречья мне казалось, что вокруг слишком много людей, слишком много машин, слишком много света. Я шёл от вокзала пешком, потому что хотел вспомнить дорогу, и всё время поглядывал на витрины, на вывески, на лица, как человек, вернувшийся из долгой экспедиции.

Дом, где мы жили, стоял в тихом дворе, обсаженном липами. Я поднялся на пятый этаж, достал ключ, постоял с ним в руке и всё-таки позвонил. Не знаю, почему. Может быть, потому что вдруг почувствовал, что не имею права входить, как будто ничего не случилось.

Дверь открыл Миша.

Он вытянулся с тех пор, как я уезжал, стал выше на целую голову, как мне показалось, и в глазах его появилось что-то новое, осторожное, чего раньше не было. Он смотрел на меня, и я смотрел на него, и мы оба не знали, что сказать. Потом он улыбнулся, неуверенно, одним уголком рта, как улыбается его мать.

— Привет, пап.

— Привет.

— Ты насовсем?

Этот вопрос он задал так просто и так спокойно, что я на мгновение лишился дара речи. Девятилетний мальчик, сын, стоял в дверях собственного дома и спрашивал у отца, останется ли он, как спрашивают у почтальона, принёс ли он письмо.

— Я пока не знаю, — сказал я честно. — Но я приехал, чтобы поговорить с мамой. И с тобой.

— Со мной не надо, — сказал он, пожав плечами. — Со мной ты по телефону разговариваешь. А с мамой надо.

Он отступил, пропуская меня в квартиру, и я вошёл в знакомый запах: кофе, книги, тёплая пыль на батарее, чьи-то духи. Вера стояла в коридоре, сложив руки на груди. Она не бросилась ко мне, не заплакала, не выговорила, только смотрела на меня долго, внимательно, тем

взглядом, которым изучают человека, вернувшегося после долгой болезни: смотрят, насколько он изменился и можно ли ему верить.

— Приехал, — сказала она.

— Приехал.

— Поешь? Я суп сварила. Вчера.

Мы сели за стол, как будто ничего не произошло. Вера налила суп, Миша что-то рассказывал про школу, про друга, у которого появилась собака, я кивал, слушал, и всё время думал, что так, наверное, выглядит жизнь, когда она идёт без меня: ровно, спокойно, с супом и школьными новостями, и что я привык воображать её пустой и страдающей, потому что мне было удобнее считать себя важным.

Только когда Миша ушёл делать уроки, а Вера убрала посуду и села напротив меня, оба мы поняли, что откладывать больше нельзя.

— Я рассказал им про вас, — сказал я.

— Кому?

— Сестре. Её мужу. Детям. Всем.

Она долго молчала, глядя на свои руки.

— И как они?

— Сестра сказала, что я ни от кого не должен прятаться. И что мне надо ехать к вам. Не как гость, а как человек, который здесь живёт.

— Это она сказала. А ты?

Я вдруг понял, что до этой минуты не спрашивал самого себя. Все эти месяцы я жил по инерции, от одного дня к другому, и ни разу не остановился, чтобы честно сформулировать, чего я хочу. Теперь вопрос стоял прямо, и уйти от него было некуда.

— Я хочу, чтобы вы познакомились, — сказал я. — Чтобы вы увидели Заречье. Чтобы Миша увидел деда, пусть он мне не отец, а Оля, баба Нюра, дети, яблоня. Я хочу, чтобы это стало нашим общим местом, а не моим тайным.

Вера подняла глаза.

— Руслан, ты понимаешь, что ты десять лет жил так, будто нас нет в твоём прошлом? Что у тебя есть сестра, а я о ней знаю только по паре рассказов? Что тебе нужно было потерять мать, чтобы вспомнить, что у тебя была семья?

— Понимаю.

— Нет, — сказала она спокойно. — Пока нет. Но, может быть, поймёшь. Мы приедем. На праздники, на выходные, как получится. Но ты должен знать: если ты опять будешь стоять в дверях, делать вид, что здесь, а на самом деле быть там, то второй раз я не стану ждать.

Она сказала это без злости, без угрозы, просто констатировала. И я кивнул, потому что другого ответа у меня не было.

Ночью я лежал рядом с ней, слушал её ровное дыхание, и думал о том, что отчим, наверное, не стал бы ничего говорить. Он бы просто взял нож, срезал под нужным углом, вставил прутик и затянул. А потом сказал бы: не лезь, пока не прижилось.

Я не знал, прижилось ли. Но я лежал в своей постели, в своём доме, рядом с женой, и впервые за много месяцев не чувствовал себя человеком, который собирается уйти.

5. Два дома

Следующие несколько недель я жил как человек, у которого одновременно болят два зуба и который не знает, к какому врачу идти первым. Утром я просыпался в городской квартире, пил на кухне кофе, смотрел, как Миша собирает рюкзак, и думал о Заречье: о том, что сегодня, наверное, подморозило, что баба Нюра, должно быть, топит печь, что яблоня стоит голая и ждёт тепла. Вечером, оставшись один в кабинете, я открывал ноутбук и ловил себя на том, что скучаю по запаху дыма и скрипу половиц, которые, как мне казалось, помнили меня лучше, чем я сам.

Вера замечала это. Она вообще замечала всё, но не говорила, и только иногда, проходя мимо кабинета с чашкой в руке, останавливалась в дверях и смотрела на меня так, будто я был окном, за которым идёт чужая жизнь.

— Ты опять там, — сказала она однажды.

— Нет. Я здесь.

— Ты сидишь здесь, а голова там. Это разное.

Я хотел возразить, но понял, что она права. С одним только уточнением, которого я тогда ещё не умел сформулировать: дело было не в том, что я любил Заречье больше, чем наш дом. Дело было в том, что в Заречье я не чувствовал себя виноватым, а в городе чувствовал, и вина эта лежала на мне, как мокрое пальто, которое никак не высохнет.

Мы с Верой познакомились много лет назад и прожили вместе достаточно, чтобы пройти через всё, что проходят пары: через восторг, через быт, через ссоры, через долгие недели, когда каждый живёт в своей комнате, как в отдельной стране. Я не буду рассказывать здесь о тех событиях, которые привели нас туда, где мы оказались; кое-что из этого читатель, возможно, знает по предыдущей книге, а кое-что принадлежит только нам двоим и в текст не попадёт. Достаточно сказать, что к тому апрелю, когда я уехал к бабе Нюре, мы оба хорошо понимали: если что-то не изменится, то оно закончится само, тихо, без хлопанья дверей, просто потому, что нам больше нечего будет друг другу сказать.

Я уехал, потому что мне нужно было побыть одному. Вера не удерживала. Мне и теперь кажется, что это была её самая трудная и самая точная ошибка: она отпустила меня слишком легко, а мне надо было, чтобы кто-то хотя бы раз закричал: «Останься!»

Миша слышал наши разговоры. Дети всегда слышат, даже когда стены толстые, а голоса тихие. Он ничего не спрашивал, но по тому, как внимательно он следил за выражением моего лица за ужином, по тому, как он аккуратно клал рядом со мной хлеб, словно проверяя, не исчезну ли я, пока он отвернулся, я понимал, что для девятилетнего человека происходящее выглядит примерно так: папа ушёл, потом пришёл, и никто не объяснил, надолго ли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.